
Настройщик
Никита Бородай

Никита Бородай
Настройщик

https://litres.ru/74706448
SelfPub; 2026

Аннотация

Андрей Левашов двадцать лет чинил то, что гудит не так. Последним звуком в его жизни был трансформатор, который пел фальшиво.

Первым звуком в новой жизни стал тот же гул.

Теперь он Мирон Тиховецкий, тощий младший сын небогатого помещика. Мальчишку убили на испытании дара, а в бумагах записали несчастный случай. Его дар — Слух, самый презираемый в Ровении: слышать, как работают эфирные контуры. Годится разве что в подмастерья-настройщики.

Только инженер слышит не шум. Он слышит схему.

Сосед-барон с поддельной долговой грамотой нацелился на имение. Кто-то из своих выдал прежнего Мирона убийцам. Каждая новая ступень Слуха стоит крови, а любой, кто заметит, что барчук стал «не тот», может сдать его церковным очистителям.

Чтобы выжить, придётся найти убийц, выстоять против тех, кто стоит за бароном, и доказать, что самый бесполезный дар в королевстве способен перенастроить целый мир.

Содержание

Глава 1. Гул 4
Глава 2. Левой рукой 15
Глава 3. Фальшивит 25
Глава 4. Тайник 36
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Никита Бородай
Настройщик

Глава 1. Гул

Трансформатор пел не так с самого обеда.

Я сказал об этом дважды: сначала диспетчеру, потом начальнику участка. Тот постоял у ограждения, держа телефон двумя пальцами, как дохлую мышь, и сказал, что до понедельника достоит. Старый масляный трансформатор всегда гудит с хрипотцой, это нормально. Ненормально было, что хрипотца плавала: уходила вверх, проваливалась, возвращалась, будто внутри бака кто-то неровно дышал. Я записал это в журнал. Журнал всё стерпит.

В шестом часу Пашка Гусев, монтажник с полугодовым стажем, полез в ячейку за оброненным ключом. Он был уверен, что там всё снято. Я бы тоже был уверен, если бы не слышал, как оно гудит.

Хлопок я помню. Потом запах: озон, палёная изоляция, горячее масло. Пашка сидел у стены с открытым ртом и не шевелился, а над ним в ячейке висела дуга, тонкая и злая, как сварочная. Разъединитель заклинило на полпути. По инструкции следовало ждать бригаду и отключения с соседней подстанции. По инструкции Пашка дождался бы своих по-

хорон.

Я взял штангу, прикрыл лицо локтем и пошёл.

Рычаг подался со второго рывка. Пашку я выволок за ворот, тяжёлого и мокрого, и он уже кашлял, когда со стороны трансформатора что-то ударило меня в спину. Боли не было. Было чувство, будто из меня разом вынули все кости, а гул, тот самый, с плавающей хрипотцой, вдруг стал огромным и близким, словно я лёг ухом на бак.

«Я же говорил им», — успел подумать я.

Потом говорить стало некому.

Первым, что я услышал в новой жизни, был тот же гул.

Ровный, с хрипотцой на верхах, только теперь он шёл не снаружи, а изнутри: от запястий к локтям, через плечи в затылок, как по проводке. Я слушал, потому что ничего другого не мог. Где-то внизу были тяжёлые чужие руки, во рту стоял вкус горькой травы и меди, и грудь не поднималась.

Это я понял не сразу. Сначала внутри было тихо, как в щите, когда выбило вводной автомат. Потом пришла простая мысль: я не дышу. За ней вторая, уже рабочая: значит, запускать придётся вручную.

Я искал, где у этого тела диафрагма, как ищут рубильник в незнакомом шкафу. Нашёл. Потянул. Ничего. Потянул снова, как крутят стартер на морозе, и воздух вошёл со свистом, ободрав горло, будто я вдохнул песок. Сердце толкнулось, замерло, потом пошло часто и криво: три удара, провал, два, опять провал. Мотор на плохом бензине. Но работает.

— Он дышит.

Голос был девичий, сердитый и очень близкий. Кто-то держал меня за левое запястье двумя пальцами, крепко, как держат чужой инструмент.

— Батюшка, он дышит. Пульс есть. Рваный, но есть.

Я открыл глаза. Дощатый тёмный потолок, на балке пучок сухой травы. Пахло воском, потом и мятой. Свет давали свечи и ещё что-то на столе справа, голубоватое и ровное.

Надо мной склонилась девушка. Узкое лицо, тёмные волосы, заколотые кое-как, жёлтые пятна на пальцах. Смотрела она не на меня, а в меня, как в разобранный механизм. Потом наклонилась к самым губам, и я понял, что она меня нюхает.

— Горько, — сказала она тихо. — Батюшка, понюхайте. Изо рта горько. При перегрузе так не пахнет, при перегрузе кровью пахнет, палёным. А это…

— Ляна. — Мужской голос, усталый, с одышкой. — Помолчи, голубушка.

— Но вы сами говорили…

— Помолчи.

Рядом с ней появилось второе лицо: полное, в седых бакенбардах, с мокрым от пота лбом. От него несло карболкой и мятными лепёшками. Он приложил ладонь к моему лбу, ладонь дрожала, и сказал громко, не мне, а куда-то за спину:

— Чудо, господа. Бывает. Каналы слабые, не сдюжили, а сердце молодое. Бывает.

«Бывает» я слышал за двадцать лет много раз. Так говорят, когда не хотят писать в акте причину.

Я повернул голову.

Комната была большая и небогатая: длинный стол, лавки, печь с битыми изразцами. На столе стоял открытый футляр, похожий на скрипичный, а в нём, на вытертом бархате, лежала бронзовая рамка с мутным кристаллом посередине. От рамки тянулись тонкие серебристые нити к двум кожаным браслетам. Браслеты были застёгнуты на моих запястьях.

Громче всего гудело оттуда. Но не только. Голубоватая штука на столе, вроде лампы без огня, тянула свою ноту, тоньше и чище. В стене звенело, как комар за занавеской. А со двора шёл низкий медленный гул, будто где-то крутилось большое колесо. Всё звучало разом, как машинный зал, где включили всё и никто не помнит, что для чего. И жил этот звук не в ушах, а в зубах, в костях запястий, в затылке. Заткнуть его было нечем.

Кроме лекаря с дочерью, в комнате было ещё пятеро.

У двери замер старик в длинной рубахе, сухой и прямой, и беззвучно шевелил губами. Когда я на него посмотрел, у меня внутри стало тепло, хотя я видел его впервые. Тело его знало. Я — нет.

Подоконник подпирал молодой мужчина лет двадцати пяти, широкий в плечах, с красивым злым ртом. Он крутил на пальце перстень и смотрел на меня так, будто я занял его место за столом. В животе у меня что-то сжалось, сразу и силь-

но, как перед дракой.

Посреди комнаты высился человек с седыми усами, в старом сюртуке, перехваченном широким кожаным ремнём. На ремне было пустое гнездо, вроде кобуры, и он гладил его большим пальцем, не замечая этого.

Рядом с ним — женщина в тёмном платье и переднике, невысокая, гладко причёсанная, с лицом, на котором ничего не было написано. Рука её лежала в кармане передника, и оттуда тихо щёлкало.

А над футляром уже склонился пятый: худой, в потёртом сюртуке, с длинными пальцами, которые мелко тряслись. Он смотрел на меня не мигая.

— Жив, — сказал он. Не обрадовался, а удивился, как удивляются ошибке в расчёте. — Надо же, жив.

И тут же повернулся к седоусому:

— Сударь, надо проверить ещё раз. Сейчас, пока каналы открыты. Через час закроются, и мы уже не узнаем, что там прожгло. Минута дела.

Он взялся за край футляра, и пальцы у него перестали трястись. Совсем, как у хирурга перед разрезом.

Ход мысли был правильный, это я отметил даже сквозь гул. После аварии замер снимают сразу, пока картина свежая. Я сам за это не раз ругался с начальством.

Женщина вынула руку из кармана, шагнула к столу и положила ладонь на крышку футляра. Закрыла. Гул сразу упал вдвое, и я чуть не застонал от облегчения.

— Нет, — сказала она.

— Сударыня, вы не понимаете, это для его же…

— Я понимаю, сколько стоит ваша минута, господин Шаврин. Своё вы уже взяли. Лекарь обошёлся нам в два воза ржи. Вторую минуту дом не потянет.

Голос у неё был мягкий, почти ласковый. Таким голосом в бухгалтерии объясняют, почему не будет премии.

Она наклонилась ко мне и сама расстегнула браслеты: быстро, холодными сухими пальцами, не глядя мне в лицо.

— Фома, проводи господина Шаврина до крыльца. И дальше, если пожелает.

Шаврин посмотрел на седоусого. Тот разглядывал половицы.

— Ступайте, — сказал он.

Шаврин закрыл замки футляра, взял его под мышку и вышел. Пальцы у него опять тряслись. Старик у двери вышел следом.

Тогда мне показалось, что я понял эту женщину. Хозяйка, которая ради экономии не даёт снять замер после аварии. Я таких видел, после них горели подстанции. Но запомнил я другое: кому-то в этом доме не нужно знать, что именно во мне прожгло.

Седоусый подошёл, постоял надо мной.

— Ну, — сказал он. Подумал и повторил: — Ну.

Большой палец ходил по пустому гнезду на ремне, туда и обратно.

— Ратмир, кликни Фому. Пусть несёт его наверх. Сказано лежать, значит, лежать.

Молодой отлепился от окна.

— Живучий ты, малой, — сказал он мне и криво улыбнулся. Перстень на его пальце сделал полный оборот.

Наверх меня нёс Фома, легко, как мешок с отрубями, хотя ему было за шестьдесят. От него пахло конским потом, табаком и хлебом. На лестнице моя нога сама поджалась перед третьей ступенькой, и ступенька скрипнула под Фомой. Тело и это знало.

— Ну-ну, барчук, — бормотал он. — Ну-ну, Мирон Вселавич. Обошлось. Обошлось, слава Прави.

Снизу, из гостиной, донёсся голос лекаря:

— …а если кого не признает, сударыня, вы не пугайтесь. После перегруза память плывёт. День, неделю. Бывает.

Последнее, что я видел перед поворотом лестницы, была девушка, Ляна. Она стояла у стола и вытирала пальцы о фартук, долго и тщательно, хотя на них уже ничего не было. И смотрела мне вслед, как врач, который не дописал диагноз и не собирается его стирать.

Ночью во дворе застучали колёса. Фыркнула лошадь, скрипнула ось, Фома под окном сказал кому-то негромко и без тепла: «Езжай, езжай». Стук ушёл к дороге. Испытатель уезжал на ночь глядя. Очень, видать, торопился.

Спать я не мог. Гудел весь дом: лампа внизу, комар в стене, теперь прямо за изголовьем, и медленный гул со стороны

реки, от которого ныли зубы. Я накрыл голову подушкой, и стало хуже: без звуков снаружи остался один гул. Похоже на звон в ушах, только у звона в ушах нет карты, а у этого была.

Голова раскалывалась от темени до шеи. Я сел, нашёл на ощупь свечу и огниво. Пальцы справились сами, быстрее, чем я успел подумать, как этой штукой пользуются.

Когда не знаешь, что делать, составляй опись. Так учил мой первый мастер: перепиши, что есть, и половина паники уйдёт на почерк.

Во-первых, я был жив. Это не обсуждалось, хотя, по совести, стоило бы.

Во-вторых, тело было не моё. Руки длинные, тонкие, без единой мозоли от инструмента. Колени острые. Волосы острижены ёжиком. Рёбра можно было пересчитать пальцем, что я и сделал. Мальчишка лет шестнадцати, и кормили его, судя по рёбрам, без усердия.

В-третьих, запястья. Я поднёс их к свече. На внутренней стороне обоих, там, где сидели браслеты, расходились бледные ветвистые следы, как морозный узор на стекле, только под кожей. Такие узоры я видел на изоляции после пробоя. И однажды на спине у электрика, которого ударило в мокрый день. Фигуры Лихтенберга. Тот электрик выжил. Мальчик, чьё тело я теперь донашивал, — нет.

В-четвёртых, что осталось от него. Язык остался весь: я думал по-русски, но слова приходили местные, и «сударыня», и «слава Прави» лежали во рту как свои. Руки помни-

ли свечу и огниво. Ноги помнили третью ступеньку. Тело узнавало людей: старику радовалось, от молодого с перстнем сжималось, женщине в переднике не доверяло. А дальше пусто. Кто здесь кому кем приходится, что за деревня за окном, чем жил мальчишка вчера. Мне отдали машину с полным баком, но без документов и без памяти о том, куда ездил прежний хозяин.

Имя, правда, я знал. Мирон. Мирон Всеславич. Барчук.

В-пятых, горечь. Она до сих пор стояла на корне языка, полынная, с аптечным хвостом. Девушка сказала: при перегрузе так не пахнет. Отец велел ей молчать, и она замолчала, но не согласилась. Может, мальчишке дали лекарство. Может, у них тут всё горькое. Выводов без замеров я не делаю, поэтому записал горечь отдельной строкой и дальше не пошёл.

И в-шестых, гул. Я дышал медленно, считал до ста, давил на виски. Гул не менялся. Видимо, мальчишка его тоже слышал, и, может быть, именно это проверяли рамкой с кристаллом. Как он с этим жил, я не понимал.

Решение я принял, когда свеча догорела до половины.

Лекарь сам дал мне легенду, и лучше легенды не придумать: после перегруза память плывёт. Хорошо. Буду плыть. Говорить мало, слушать много, повторять чужие слова, не узнавать никого, пока не узнаю наверняка. И никому, ни лекарю, ни его дочери с чутким носом, ни хозяйке со щёлкающим карманом, не говорить, что я не тот.

Я не знал, что здесь делают с теми, кто не тот. Зато знал, что у нас делают с прибором, который показывает не то, что должен. Его не чинят. Его списывают.

Ратмир пришёл, когда за окном уже начало сереть.

Сначала я услышал шаги в коридоре и долгую остановку у двери, будто он раздумывал. Потом дверь скрипнула. Запахло вишнёвой наливкой и табаком. Кровать прогнулась, когда он сел на край, и что-то тихо стукнуло о стекло: перстнем о бутылку.

— Не спишь, малой.

— Не сплю.

— Голова?

— Гудит.

Он коротко хмыкнул.

— Гудит у него. Ну конечно. У кого ж ещё гудеть.

Помолчали. Он отпил из горлышка, громко, со вздохом.

— Ты маленький был, я тебя на плечах к мельнице носил. Ты всё на колесо глядел, рот разинув. Помнишь?

Я молчал. Он подождал.

— Не помнишь. Ну и правильно.

Голос у него был мягкий, пьяный, почти нежный. Только тело моё ему не верило: живот стянуло так, что заныли рёбра, и мне захотелось отодвинуться к стене. Я не отодвинулся.

— Мирон. — Он наклонился ближе, и голос стал трезвее, чем следовало после половины бутылки. — Ты что-нибудь помнишь? Про что мы говорили? На той неделе, у конюшни.

Внутри ничего не откликнулось. Пусто, как в отключённой линии. Но то, как он спросил, мне не понравилось. Так спрашивают «ты точно ничего не трогал?», когда трогал сам.

— Лекарь сказал, память плывёт, — ответил я. — Я и тебя-то едва признал.

Он долго не шевелился. Потом встал. Шаги до двери: три, четыре. У двери он остановился, и я услышал, как перстень опять сделал оборот на пальце, тихо шурша по коже.

— Мирон.

Я лежал с закрытыми глазами и дышал ровно, как спящий. Сердце опять пошло вразнобой: три удара, провал.

Он подождал. Не дождался.

— Если вспомнишь — сначала мне.

Глава 2. Левой рукой

Утром Фома принёс наверх кашу.

Он поставил миску на табурет у кровати, сунул мне в руку ложку и сел на сундук у двери, положив ладони на колени. Каша была пшённая, на молоке, с лужицей масла посередине. Я не ел, по ощущениям, лет сто. Рука сама зачерпнула, донесла, вернулась за новой порцией. Масло я выгреб первым, как в детстве. В своём детстве, не в этом.

— Барчук левой рукой ложку отродясь не держал, — сказал Фома.

Сказал без нажима, глядя в окно, будто сообщал, что к обеду будет дождь.

Я посмотрел на ложку. Она была у меня в левой. Андрей Левашов всю жизнь был левшой, его переучивали в первом классе и бросили во втором. А тело было правши: я теперь чувствовал, как неловко держат пальцы черенок, будто чужой инструмент не по руке.

Я переложил ложку в правую и доел. Получалось криво, пару раз я задел зубы. Фома смотрел в окно. Когда миска опустела, он встал, забрал её, постоял.

— Сударыня Агния велели спросить, сойдёте ли к обеду, — сказал он. — Или тут подать. Батюшка ваш, Всеслав Данилович, нынче дома. Ратмир Всеславич с утра в поле. Сестрица ваша, Велена, за вас молилась. Вы не пугайтесь, если

она чего спросит. Она у нас спрашивать горазда.

Он говорил медленно, как диктуют неграмотному, и каждое имя ставил отдельно, на полку. Сыну не объясняют, как зовут его отца. Брату не представляют сестру. Он меня знакомил с домом и делал вид, что просто болтает.

— Сойду, — сказал я.

— Вот и ладно. Ешь… ешьте, барчук, оно силы даёт.

Он вышел. На лестнице третья ступенька скрипнула под ним, и я услышал, как он на секунду остановился. Будто тоже о чём-то думал.

Мы оба сделали вид, что разговора про ложку не было. Я этому виду не поверил. Подозреваю, что и он своему тоже.

К обеду я спустился сам, держась за перила. Три дня назад этот мальчик, видимо, бегал по лестнице через ступеньку. Теперь на каждом пролёте мне приходилось стоять и ждать, пока сердце соберётся.

В гостиной гудел светец. Днём он был тише, но я всё равно слышал его ещё из коридора, тонкую ровную ноту, как от провода в мороз. За столом сидели трое. Отец во главе, в том же сюртуке и с тем же ремнём. Агния по правую руку от него. Напротив неё девочка лет тринадцати с острым подбородком и косой, закинутой за спину. Моё место было на дальнем конце, у двери. Я это понял по тому, как девочка посмотрела на стул, а потом на меня: сядет или не сядет.

Я сел.

Отец кивнул, не поднимая глаз от тарелки. Щи были пост-

ные, пустые, с одной картошкой на двоих. Хлеб резала Агния, тонко, на просвет.

— Ну, — сказал отец. — Встал.

— Встал.

— Голова?

— Лучше.

Он кивнул снова и вернулся к щам. Минуты через две, когда я уже решил, что разговор кончился, он сказал, обращаясь к солонке:

— В мать пошёл. У неё тоже кровь была слабая. Чуть что — в постель. Я думал, в тебе хоть что от нашего рода есть, а оно вон как.

Агния перестала резать хлеб. Положила нож, вытерла пальцы о передник, и рука ушла в карман. Там тихо защёлкало, мелко, ритмично, будто кто-то быстро считал.

— Лекарь, Всеслав, обошёлся в два воза ржи, — сказала она ровным голосом, будто продолжала начатый разговор. — Из нового урожая. Испытателю за переиспытание дали три рубля серебром вперёд, а он ещё взял за беспокойство. Свечи всю ночь жгли, не гасили. Это я не в укор. Я к тому, что слабую кровь нам содержать дороже, чем сильную.

— Агния.

— Я не в укор, — повторила она. — Я считаю.

Щёлканье в кармане прекратилось. Велена смотрела то на мать, то на меня, и губы у неё шевелились, как у человека, который заучивает наизусть.

Я ел щи правой рукой и думал, что испытание здесь, похоже, устраивают не только рамкой с браслетами, но и каждый день за обедом. И что результат у меня, судя по лицам, неважный.

Учиться быть Мироном я начал в тот же вечер, на чёрной лестнице.

Лестница шла из сеней в кухню, под ней стоял ларь с мукой, и сидеть на нём было удобно. Из кухни тянуло дымом и кислой капустой. Там разговаривали двое: кухарка Марфа, судя по голосу, немолодая и простуженная, и девка Палашка, которая всё время что-то роняла.

За час я узнал больше, чем за сутки наверху. Что Ольшанка заложена и перезаложена. Что барон Збраславский, сосед, «за долги скоро всю округу к рукам приберёт, и нас». Что средний барчук, Глеб, служит далеко и пишет редко, но аккуратно. Что Ратмир Всеславич опять «в Кремнёве гостевал» и вернулся без шапки. Что меня, Мирона, в деревне жалели, а в доме не очень: «гудошник», сказала Палашка и тут же испуганно хихикнула.

Слово было обидное, это я понял по тому, как она хихикнула. Что оно значит, я догадывался. Я слышал гул, которого не слышали другие. Значит, гудошник.

— А ещё Лукерья говорила, — понизила голос Палашка, — что как после такого встают, так не всегда тот встаёт, кто лёг. Бывает, говорит, подселенец…

Что-то стукнуло, будто чугунок поставили на стол слиш-

ком сильно.

— Ты язык-то прибери.

Это был Фома. Я не слышал, как он вошёл. Палашка ойкнула.

— Да я что, дядя Фома, я ж Лукерьины слова…

— Лукерья пусть свои слова у себя держит. — Голос у него был тихий и очень спокойный. — Слава Прави, барчук жив. Вот и всё, что надо знать. А кто иное скажет, тому я сам язык в узел завяжу. Ясно?

— Ясно…

Я осторожно приподнялся с ларя, чтобы уйти, и тут Фома появился в дверях кухни. Посмотрел на меня. Поднял руку и обвёл щепотью круг у лба — быстро, привычно, как отряхивают крошки. Знак Прави, понял я. Тело моё тоже дёрнулось повторить, и рука до половины поднялась, прежде чем я её остановил.

Фома ничего не сказал. Ушёл в сени.

Велена нашла меня на следующий день в отцовой библиотеке. Библиотекой это называлось условно: три полки, на одной книги, на двух амбарные тетради и подшивки «Губернских ведомостей» за позапрошлый год. Я искал хоть какую-нибудь карту. Карты не было.

— Ты раньше меня боялся, — сказала она от двери. — А теперь нет.

Она стояла, привалившись плечом к косяку, и грызла карандаш. Не кончик, а дерево вокруг грифеля: так затачива-

ют, когда нет ножа. За поясом у неё торчала книжечка в синей обложке, сильно потрёпанная по углам.

— Почему я тебя боялся? — спросил я.

— Потому что я всё записываю. — Она вынула книжечку, но не раскрыла. — И маменьке говорю. Ты раньше, как меня видел, сразу уходил. Или краснел. А сейчас смотришь, будто я тебе задачу задала. Почему?

Я подумал, что вру сейчас плохо и что лучше сказать кусок правды.

— Забыл, что надо бояться.

Она моргнула, раскрыла книжечку и быстро что-то записала, прикрывая страницу локтем. Потом подошла к полке и вытащила из-за подшивок пачку писем, перевязанную бечёвкой.

— Это Глебовы. Я их храню, а то маменька на растопку пустит. Ты их раньше читал. Хочешь опять?

Я развязал бечёвку. Писем было восемь, все короткие. «Дорогой батюшка, жив, здоров, полк стоит покойно, погода сухая. Кланяюсь сударыне Агнии, братьям и сестрице». Ничего лишнего. Но почерк я разглядывал дольше, чем текст. Буквы стояли прямо, одной высоты, без наклона. Ни одной кляксы. Строки ровные до последней, и у края листа виднелись мелкие проколы, как от иглы: кто-то размечал поля по шаблону.

Так пишут не письма. Так подписывают чертежи. Нас самих в техникуме мучили таким шрифтом по полсеместра.

— Полковые так не пишут, — сказала Велена, глядя мне через плечо. — Ратмир говорит, у полковых почерк как курица лапой. А у Глеба будто по линейке. Я спрашивала батюшку, батюшка сказал: не твоего ума.

— А ты как думаешь?

Она пожала плечами.

— Я ещё не думаю. Я записываю.

Я завязал бечёвку и отдал ей письма. Она сунула их обратно за подшивки и уже от двери обернулась.

— Ты ещё и узел другой вяжешь, — сказала она. — Раньше бантиком, а теперь вот этак.

Узел был обычный, монтажный, которым я двадцать лет вязал жгуты. Я посмотрел ей вслед и решил, что сестрица в этом доме опаснее любой Лукерьи.

На третий день Фома позвал меня в конюшню: «Воздуху глотнуть, барчук, а то вы с лица совсем зелёный». В конюшне стояли три лошади. Одна, рыжая, с белой проточиной, сразу потянулась ко мне мордой. Я машинально положил ладонь ей на шею, тёплую и сухую. Фома, чинивший у ворот хомут, это видел.

— Вы, барчук, Зорьку раньше стороной обходили, — сказал он, не поднимая головы. — Она вас в позапрошлый год за плечо куснула.

Я убрал руку. Зорька обиженно фыркнула.

Фома шил хомут шилом и дратвой, неторопливо, крепко затягивая каждый стежок. Потом сказал, как будто к слову:

— Я молодой был, у нас в Заречье парнишка горячкой болел. Неделю лежал. Встал — и не тот. Говорит не так, мать не признаёт, знак Прави не той рукой кладёт. Бабы и зашептали. Донесли в обитель. Приехали очистители. Двое, при одном Око. Глядели его, глядели. Сказали: подселенец. Чужая душа в живом теле, скверна.

Он затянул стежок.

— И что? — спросил я. Голос у меня вышел почти ровный.

— Очистили. — Фома перекусил дратву. — Жгли из него чужое три дня. На четвёртый схоронили. Мать потом в Гарь ушла, не вернулась. А может, он и не был никакой подселенец. Может, просто горячка у него в голове всё перемешала. Кто ж теперь скажет.

Он поднялся, повесил хомут на гвоздь.

— Так что вы, барчук, ложку-то правой держите. И Зорьку не гладьте. Не любили вы её.

Он ушёл к колодцу с ведром. Я остался стоять у стойла, а Зорька дышала мне в плечо.

Дома за подлог увольняли. Иногда судили. Здесь, оказывается, жгли три дня. Я вдруг очень ясно увидел то, что до сих пор только прикидывал в уме: меня не спишут. Меня очистят. И перед этим будут долго глядеть.

Я подумал, сколько в этом доме глаз. Фома, который уже знает. Велена, которая записывает. Лекарская дочка с чутким носом. Ратмир, которого я едва признал. Каждый мог

по отдельности ничего не сказать. А мог сказать Лукерье.

Значит, так: молчать. Слушать больше, чем говорить. Выучить этого Мирона раньше, чем кто-нибудь выучит меня.

Ночью гул опять не давал спать.

Я уже различал в нём три голоса. Светец внизу, тонкий и ровный. Комар в стене, прямо за изголовьем, неровный и сиплый, как больной подшипник. И со стороны реки низкое медленное гудение, которое не столько слышалось, сколько отдавалось в зубах. Пока они звучали вместе, разобрать их было так же трудно, как три радиостанции на одной волне.

Я лёг на спину и стал дышать медленно, на четыре счёта вдох, на шесть выдох. Так меня учили когда-то перед высоткой, чтобы руки не дрожали. Через десяток вдохов поймал комара. Не ушами, а будто взял его пальцами за ножку, как ловят настоящего. Сосредоточился только на нём: вот он сипит, вот захлёбывается, вот снова.

И остальные отошли.

Светец ушёл вниз, за пол, стал тише свечи. Река отодвинулась к самому горизонту. Остался один комар, и он был терпим. Тогда я осторожно, на выдохе, отпустил и его.

Тишина.

Не полная, где-то на краю всё равно шуршало, но впервые за три дня я услышал собственное дыхание и стук ветки по стеклу. Обычные звуки обычной ночи. Я лежал и не верил, что их можно слышать без всего остального.

Продержалось это вдохов двадцать. Потом виски стисну-

ло, будто их взяли в тиски, на лбу выступил пот, и всё вернулось разом, громче, чем было. Я сел, держась за голову, и долго ждал, пока оно уляжется обратно до привычного.

Но фильтр работал. Плохо, с перегревом, на полминуты, однако работал. Значит, этим можно управлять.

Я лёг снова и начал всё сначала, на четыре счёта вдох, и тут под окном свистнули.

По-иволгиному: переливчато, с придыханием, как флейта. Дважды. Между первым и вторым коленом был короткий перебив, будто свистун запнулся нарочно.

Я замер. Свист был не птичий. Иволги в августе ночью не поют, да и вообще ночью не поют. Это был человек, и он ждал ответа. Тело моё дёрнулось к окну, губы сами сложились, но что делать дальше, они не знали. Мирон помнил движение, а мелодию забыл.

Под окном подождали. Потом свистнули ещё раз, короче и выше. Как спрашивают: ну?

Я молчал.

Последний свист оборвался на середине, резко, будто кто-то сердито сжал губы. В кустах под окном зашуршало и стихло.

Глава 3. Фальшивит

Через два дня мне разрешили выйти за ворота.

Разрешил, строго говоря, Фома. Отец сказал «лежать», Агния сказала «воздух дешевле лекаря», и Фома истолковал это как приказ выгулять барчука до ржаного поля и обратно. Шёл он рядом, чуть позади, как ходят за телёнком, которого боятся упустить в канаву.

Рожь дожинали. Ближний клин уже стоял в суслонах, по дальнему шли бабы с серпами, согнувшись в одну спину. Пахло пылью, соломой и нагретой землёй. И впервые за пять дней ничего не гудело. Совсем. От дома до поля было шагов триста, и где-то на середине пути гул светца и комара просто кончился, как кончается шум трассы, когда отъедешь в лес. Только река ещё тянула свою низкую ноту, но и она здесь была тише.

Я остановился посреди дороги и стоял, пока Фома не спросил, не дурно ли мне.

Мне было хорошо. Так хорошо, что я испугался, не видно ли это по лицу.

Потом я увидел вешки.

Их было штук двадцать, полосатых, белое с красным, и шли они через поле неровной цепочкой, прямо по стерне и по суслонам. Двое в форменных картузах тащили мерную цепь, третий стоял у треноги с медным прибором и смотрел

в окуляр. Бабы на дальнем клину разогнулись и глядели на них молча, как на град.

— Землемеры, — сказал Фома и сплюнул. — Третий день ходят. Снопы топчут.

— Что меряют?

— А пёс их знает. Говорят, чугунку.

Я подошёл к треноге. Прибор был хороший: латунь, стекло, уровень с пузырьком, нониус на лимбе. Простой теодолит, ровесник, наверное, моего деда в той жизни. И он не гудел. Ни звука, ни шороха в костях. Я поймал себя на том, что хочу его погладить, как старого знакомого.

— Не трожьте, барин, — сказал тот, что у окуляра, не отрываясь. — Сбито будет.

— Куда ведёте?

Он оглянулся, оценил мой сюртук с чужого плеча и худобу, решил, видимо, что вреда не будет.

— Восточную ведём. От Кремнёва на Тесмень. Пока изыскание, а там как начальство решит. — Он махнул рукой вдоль вешек. — Через ваш клин, а дальше вон к оврагу.

Цепочка вешек уходила к краю поля и терялась у тёмной полосы кустов, за которой земля проваливалась вниз.

— Глухой лог там, — сказал Фома за моей спиной. — Гиблое место. Туда скотину не гоняют.

— Почему гиблое?

Фома помолчал.

— Старый барин не велел. Значит, гиблое.

Я посмотрел на вешки ещё раз. Дома я много лет работал на объектах, которые строили вдоль новых дорог, и одно правило там было железное: земля дорожает раньше, чем по ней проедет первый поезд. Иногда в десятки раз. Иногда настолько, что её прежние хозяева исчезают из документов раньше, чем успевают понять, что разбогатели.

На меже, у крайнего суслона, сидел ещё один человек. Я заметил его не сразу, потому что заметить его было трудно. Серый армяк, серый картуз, лицо, которое забываешь, пока смотришь. Он жевал соломинку и не делал ничего. Не мерил, не записывал, не командовал. Просто сидел.

И смотрел он не на вешки. Он смотрел на меня.

Когда я встретил его взгляд, он не отвёл глаз и не кивнул. Перекатил соломинку из одного угла рта в другой и продолжал смотреть, спокойно, как смотрят на межевой столб: стоит, и пусть стоит, но где стоит, надо запомнить.

— Это кто? — спросил я Фому.

— Не наш. С землемерами ходит. Землемеры его не любят, я видел.

Обратно мы шли молча. На полпути гул вернулся: сначала река, потом, у самых ворот, тонкий голос светца. Я вошёл в дом, как входят в цех после перекура.

Барон Збраславский приехал после обеда, «на радостях».

Так он и сказал, ещё в сенях, громко, на весь дом:

— На радостях, Всеслав Данилович, на радостях! Как услышал, так и велел закладывать. Где он, где наш воскрес-

ший?

Я сидел в гостиной у окна, куда меня усадила Агния, и успел разглядеть его прежде, чем он разглядел меня. Крупный, мягкий, розовый, гладко выбритый, в отличном сером сюртуке. Пахло от него лавандой и дорогим табаком. Руки белые, полные, с ямочками на костяшках, как у младенца. Он прошёл через комнату, будто через свою, и взял мои ладони в свои.

— Голубчик! Да вы бледны! Кто ж вас, душа моя, так рано из постели выпустил?

Ладони у него были тёплые и влажные. Я сказал, что мне лучше. Он не отпускал моих рук и смотрел мне в лицо внимательно, с ласковой тревогой. Так на ярмарке оглядывают лошадь, прежде чем спросить цену.

За ним вошёл молодой человек лет девятнадцати, рослый, с тяжёлой челюстью и аккуратными усиками. На указательном пальце у него было толстое кольцо с тёмным камнем. Он прислонился к косяку и щёлкнул по камню ногтем. Из кольца выскочила крошечная синяя искра и тут же погасла. И в зубах у меня коротко дёрнуло, как от удара током через ручку двери.

— Гордей, сын мой, — сказал барон, не оборачиваясь. — Поздоровайся.

— Здравствуй, Мирон, — сказал Гордей и щёлкнул ещё раз.

Ратмир, который сидел у стола, поднял на него глаза и

медленно повернул перстень на пальце.

Барона усадили в лучшее кресло. Агния подала наливку, Палашка уронила за дверью поднос. Отец сидел прямо, как на смотре, и большой палец его ходил по пустому гнезду на ремне.

Барон достал табакерку. Крышка была перламутровая, с переливом. Он открыл её, подержал раскрытой, будто давал табаку подышать, и закрыл, так и не взяв щепоти.

— Ну, расскажите, голубчик, — сказал он мне. — Что ж с вами было? Что помните?

— Ничего не помню, — ответил я. — Лекарь говорит, после перегруза память плывёт.

— Плывёт, плывёт, — согласился барон. — Это бывает. А меня-то помните? Как вы у меня в Збраславе на Масленой с горки в сугроб? Вы маленький были, ревели, а я вам пряник.

— Не помню. Простите.

— А последнее что помните? Перед испытанием?

Табакерка открылась снова. Он смотрел в неё, не на меня, и говорил, будто спрашивал о погоде.

— Ничего, — сказал я. — Неделю как стёрло. Даже больше.

Крышка закрылась.

— Ну и слава Прави, — сказал барон мягко. — Зачем вам, душа моя, помнить такие страсти. Забыли — и живите.

— Гудошник ожил, — сказал Гордей от двери, ни к кому не обращаясь. — Жаль камень.

Стало очень тихо. Даже светец, кажется, загудел тише.

— Гордей, — сказал барон.

— А что? Говорят, у испытателя камень помутнел. Хороший был камень.

Ратмир встал. Перстень на его пальце сделал полный оборот.

— Камень, Гордей Корнилич, Шаврин с собой увёз. Не твоя забота.

— Сядь, — сказал отец, и Ратмир сел.

Я вспомнил мутный кристалл в бронзовой рамке. Он и тогда был мутный. Или стал мутный после меня. Гордея, видимо, огорчало именно это.

Потом барон заговорил о деле. Он заговорил о нём так, будто дело было пустяком, о котором неловко и вспоминать.

— Всеслав Данилович, я ведь не только с радостью. Вы просили об отсрочке. Я разве зверь? Сосед соседу. Вот, привёз.

Он вынул из портфеля сложенный лист плотной бумаги и развернул на столе. Внизу листа краснела сургучная печать размером с полтинник, с вплавленной в неё серебряной ниткой, концы которой уходили под бумагу.

— Переписка срока, — сказал барон. — До Ключенья. Подпишете — и забудьте до самой зимы. Я уж и в Кремнёве заверил, чтоб вам не ездить.

Отец взял лист, долго читал, шевеля усами. Агния смотрела на лист, не на мужа, и рука её была в кармане. Там мол-

чало. Отец обмакнул перо, подписал, посыпал песком.

— Душа моя, — сказал барон мне, — подайте-ка бумагу, я спрячу. У меня колени, знаете ли.

Я встал, подошёл к столу и взял лист за нижний край. Большой палец лёг на сургуч.

Печать гудела.

Тонко, на пределе слышимости, как гудит на подстанции маленький трансформатор тока. Только не ровно. Тон был двойной: одна нота, и почти поверх неё другая, на волос ниже. Они не сходились, тёрлись друг о друга, и от этого трения у меня заныли корни зубов, будто я жевал фольгу.

И тут из груди поднялось чужое.

Не мысль, а толчок, горячий и детский, как обида. «Фальшивит. Надо сказать». Я не думал этих слов, они пришли сами, из того места, где у тела хранились третья ступенька и знак Прави. И вместе с ними пришло другое: что сказать нужно немедленно, что это важно, что если не сказать, будет плохо. Мой рот уже открылся.

Я закрыл его.

— Что, голубчик? — спросил барон. Табакерка снова была открыта. — Тяжела бумага?

— Голова, — сказал я. — Закружилось.

Я отдал ему лист. Он сложил его, не глядя, и убрал в портфель. Улыбнулся.

— Ну конечно, конечно. Вам бы лечь. А скажите, душа моя, как вы теперь слышите-то? Батюшка ваш жаловался,

что гудит у вас. Так же, как прежде?

Мне надо было ответить, как ответил бы больной мальчишка. А я в этот момент думал про две ноты, которые не сходились, и про то, что на сургуче их быть не должно.

— Хуже, — сказал я. — Всё одним фоном, как через стенку. Где светец, где что — не разберёшь. Будто перемычку где-то коротнуло.

Я услышал это на последнем слове. Фон. Перемычка. Коротнуло.

Барон медленно закрыл табакерку.

— Перемычку? — переспросил он. — Экие у вас словечки, душа моя. Это где ж такому учат?

Спина у меня стала мокрой.

— Так у настройщиков говорят.

— У каких же настройщиков, голубчик?

Я не знал ни одного настройщика. Я не знал даже, есть ли здесь настройщики, кроме этого слова.

— Слышал, — сказал я. — Где-то. Не помню.

— А я думал, — барон ласково покачал головой, — вы ни одного настройщика в глаза не видали. Батюшка ваш на учителя для вас не тратился. Да и то сказать, на что было тратиться. Правда, Всеслав Данилович?

Отец покраснел пятнами.

— Мироше пора лежать, — сказала Агния и встала. — Простите, Корнилий Афанасьевич. Лекарь велел.

— Конечно, конечно! Ступайте, голубчик. Берегите себя.

Вы нам живой нужны.

Кому это «нам», я спрашивать не стал. Я поднимался по лестнице и слышал за спиной, как Гордей щёлкает своим кольцом, раз за разом, и каждый щелчок отзывался у меня в висках.

Наверху я сел на кровать и составил вторую опись. Короче первой.

Первое. Прежний Мирон слышал эту печать. Не эту бумагу, бумага новая, а этот звук, двойной, с трением. Иначе тело не узнало бы его так быстро.

Второе. Он понял, что звук неправильный, и хотел кому-то сказать. Кому, неизвестно. Сказал или нет, неизвестно.

Третье. «Неделю как стёрло» я сказал сам, наугад. Но барон спросил именно про то, что было перед испытанием, и спросил первым делом, раньше, чем о здоровье.

Четвёртое. Ляна сказала: при перегрузе так не пахнет.

Каждая строка по отдельности ничего не значила. Четыре строки вместе значили то, что я двадцать лет видел в актах расследования: человек написал служебную записку о неисправности, а через неделю на этом участке случилась авария. Дома после такого перечитывали записку. И искали, кто её читал.

Здесь записки не было. Был только звук, который мальчик унёс с собой и который теперь достался мне.

Долго думать тут было не о чем. Никому. Ни отцу, ко-

торый подписал и покраснел. Ни Агнии, у которой в кармане щёлкает. Ни Ратмиру, который просил «сначала мне». Ни Фоме, хотя ему сказать хотелось больше всех. Пока я не знаю, кто опасен, все опасны одинаково.

Но сначала надо было понять, что именно я слышал.

Ночью я спустился в отцовский кабинет.

Третью ступеньку я перешагнул. На второй замер, слушая дом: отец храпел за стеной, внизу ровно гудел светец, комар остался наверху. Дверь кабинета не была заперта. Здесь, видимо, не запирали ничего, кроме кладовой.

Свечу я зажёг уже внутри и прикрыл ладонью. Стол стоял у окна, тяжёлый, дубовый, с двумя тумбами. В правой тумбе нашлась шкатулка, в шкатулке бумаги. Новой грамоты барона там, конечно, не было, он увёз её с собой. Зато были старые.

Я перебирал их, пока не нашёл две с печатями. Одна, на гербовой бумаге с орлом, была закладная губернского банка, и печать на ней была почти такая же, красная, с серебряной ниткой. Другая — купчая на какую-то пустошь, заверенная кремнёвским нотариусом, тридцатилетней давности.

Я положил палец на банковскую печать.

Она гудела. Тише, чем новая, будто устала за годы, но ровно. Одна нота, чистая, без второго голоса. Никакого трения.

Нотариальная тоже была ровная. Кажется, даже того же тона, но за это я бы не поручился.

Значит, правильная печать поёт одной нотой. А та, сего-

дняшняя, двумя. Это я теперь знал. Но не знал, почему, где у неё сбито и что это значит. Слышал разницу так, как неопытный механик слышит стук в моторе: стучит, а где, не скажет. Я сидел и держал палец на сургуче, словно он мог объяснить сам.

И не услышал, как открылась дверь.

Свет лёг на стол поверх моего, жёлтый и колеблющийся. Я обернулся.

На пороге стояла Агния со свечой. Одетая, не в ночном: тёмное платье, платок на плечах. Лицо у неё, как всегда, было пустое.

— Что ты здесь ищешь, Мироша?

Глава 4. Тайник

— Письма искал, — сказал я. — Матушкины. Хотел почерк вспомнить.

Я сказал это и сразу понял, как это звучит. Шестнадцатилетний парень после болезни ночью ищет письма покойной матери. Трогательно. Почти правдоподобно. Если не смотреть на то, что у него под пальцем лежит закладная губернского банка.

Агния смотрела.

Она подошла к столу, поставила свечу рядом с моей и некоторое время глядела на шкатулку. Пальцы её нырнули в карман передника. Там щёлкнуло, раз, другой, потом быстро и мелко, как будто кто-то пересчитывал горсть мелочи. Я впервые подумал, что это, наверное, и есть счёт: костяшки, маленькие, на шнурке.

— Здесь их нет, — сказала она.

Взяла закладную двумя пальцами, положила обратно, накрыла купчей, закрыла крышку. Всё на свои места, ровно так, как лежало. Она помнила, как лежало.

— Свечу не жги зря, — сказала она. — Свеча — полушка. Полушка к полушке, и выходит лекарь.

Она послюнила пальцы и прищипнула фитиль моей свечи, не поморщившись. Стало темнее. Теперь светила только её.

Я ждал вопроса. Вопроса не было. Агния стояла в дверях,

одетая, в платке, будто только что вернулась с улицы или собиралась уйти. На подоле платья темнела полоса, влажная, по щиколотку. Роса. Ночью в доме росы не бывает.

Она тоже видела, что я смотрю на подол.

— Иди спать, Мироша.

Я пошёл. Третья ступенька, как и прежде, осталась без меня. На площадке я оглянулся. Агния всё ещё стояла внизу со свечой и смотрела не мне вслед, а на дверь кабинета, плотно ли закрыта.

Она не спросила, зачем мне закладная. Я не спросил, где она ходит по росе в два часа ночи. Счёт, кажется, вышел ровный. Только я не знал, на чьей стороне ноль.

Через день Фома позвал на мельницу.

— Вы ж там дневали и ночевали, барчук, — сказал он. Он стоял у крыльца с багром на плече и ждал, пока я натяну сапоги. — Может, оно поможет. Голове-то.

Мельница стояла ниже усадьбы, где речка Ольшанка делала петлю. От дома туда вела тропа через выгон, мимо деревенских огородов. Чем ближе мы подходили, тем громче становился тот самый низкий гул, который всю неделю не давал мне спать. Теперь он шёл не издали, а снизу, отдаваясь в подошвах. Как бывает, когда стоишь на перекрытии над машинным залом.

Сама мельница была старая, бревенчатая, на каменном подклете, с колесом на боку. Колесо крутилось, плескало, скрипело осью. Вода шла по деревянному лотку от плотины

и падала на лопасти. Шум воды был обычный, честный, ушами. А гул под ним был другой.

Внутри пахло мукой, сырым деревом и мышами. Посередине стоял постав: два жёрнова, нижний неподвижный, верхний вращался, шурша зерном. Над ними ковш, под ними ларь. Всё как на картинке в учебнике истории, если не считать угла. В углу, под рогожей, громоздилось что-то большое, с медными ушами и толстым коробом, от которого к поставу шёл вал с муфтой. Муфта была разведена. Вал не крутился.

— Привод, — сказал Фома, проследив мой взгляд. — Старый барин ставил, ещё когда лог был живой. Как лог заглох, так и он встал. Мёртвый. Колесом мелем, по-дедовски.

Гул шёл не из привода. Я подошёл к коробу, постоял рядом, положил ладонь на рогожу. Ничего. Холодная мёртвая железка. Зато стоило отойти к поставу, как в ступнях начинало ныть. Гудело под жёрновами. Под полом, под камнем подклета, где-то глубже.

— Я колесо гляну, — сказал Фома. — Ось скрипит, слыхали? А вы тут посидите.

Он вышел. Я остался один и понял, что меня оставили нарочно.

Я не знал, куда идти. Зато знали ноги.

Они вывели меня через заднюю дверь на мостки над лотком, к торцу мельницы, где крыша нависала низко над водой. Рука сама поднялась под стреху, нащупала вторую от угла доску обрешётки, качнула её. Доска подалась. За ней была

щель, а в щели что-то мягкое, завёрнутое в промасленную тряпку.

Сердце стукнуло три раза и провалилось.

Сверток был небольшой, с толстую книгу. Я развернул его тут же, на мостках, сев на мокрые доски. Внутри лежали две вещи: самодельная тетрадь, сшитая суровой ниткой, и жестяная коробка из-под леденцов, с картинкой, вытертой до белой жести.

Тетрадь была толстая, страниц на сто, из разной бумаги: серая обёрточная, листы из амбарной книги, оборот старых счетов. На обложке детским почерком: «Как звучат вещи». Ниже, другим, повзрослее: «Не трогать. М. Т.»

Я открыл.

Первые страницы были написаны крупно, с ошибками, лет в двенадцать, наверное. Потом буквы мельчали и становились твёрже. Мальчик писал года три. Записи шли не по дням, а по вещам, как в справочнике, и под каждой вещью было несколько строк.

«Светец в гостиной. Как оса в банке. Ровно. Если задрожит, значит, звонец садится, сказать маменьке Агнии, а то в темноте будем».

Я отложил тетрадь и прислушался. Отсюда светца было не слышно, но я помнил его хорошо: тонкая ровная нота, как провод на морозе. Оса в банке. Да. Если оса не бьётся, а гудит на одном месте. Он слышал то же, что и я. Только сравнивал с тем, что знал сам.

«Комар у меня в стене. Это бабкина сушилка, зашита за обои, чтоб углы не мокли. Сипит, когда к дождю. Когда сипит громко, ночью дождь».

Комар. Тот самый, что сипел за изголовьем, как больной подшипник. Не тварь, не утечка, не призрак, а старая хозяйственная вещь, зашитая в стену. Я вспомнил, как прислушивался к нему в ночь свиста, и как он захлёбывался. А под утро, кажется, и впрямь шумело по крыше. Тогда я не обратил внимания.

Первый раз в этом мире я сверил прибор с паспортом. И паспорт совпал.

Я листал дальше, уже медленнее.

«Батюшкин ремень. Пусто. А гнездо помнит, если пальцем. Тихо-тихо, как где-то далеко колокол».

«Ратмиров перстень молчит. Простой».

«Гордеево кольцо злое. Кусается».

«Фома не гудит. Люди не гудят. Жалко».

Я посидел над этой строчкой.

Мальчика никто не учил. Это было видно по всему: он не знал ни одного слова, кроме «гудит», «поёт», «ровно» и «не в лад». Он изобретал описание звука сам, как изобретают колесо в деревне, где колёс не видели. И описывал так точно, что через полгода, будь у него хоть один учитель, мог бы писать нормальные паспорта. Двадцать лет я учил практикантов, и половина из них к концу первого года не умела вот этого: сесть рядом с машиной и записать, что слышишь,

а не что думаешь.

Он сидел на этих мостках и записывал.

Дальше была страница про мельницу.

«Мельница гудит снизу. Из-под пола. Фома говорит, это вода. Не вода. Вода сверху, а это снизу».

И последние записи, торопливые, другим карандашом, мягким и жирным. Июль, судя по тому, что запись перед ними была помечена «после Купалы».

«Под камнем поёт. Тихо, как бабкин звонец. Никому».

Ниже, через пустую строку, видно, что позже, совсем короткое, с нажимом, так что карандаш продрал бумагу:

«Печать у З. не в лад. Надо сказать».

Больше ничего. Дальше чистые страницы.

Я сидел с тетрадью на коленях и слушал, как под мельницей гудит. Низко, ровно, из-под подклета, из-под жёрнова. Под камнем. Что тут ещё было назвать камнем? Жёрнов и есть камень, мельники так и говорят. Он стоял здесь, у постава, как я пять минут назад, и слышал, что под нижним жёрновом поёт.

Правда, «тихо» не очень вязалось с тем, что гудело у меня в подошвах. Но мальчик вырос под этот гул, как вырастают у железной дороги. Для него, может, и тихо.

Что такое «бабкин звонец», я не знал. Я не знал даже, какая у Мирона была бабка.

А вот «З.» я знал. И знал теперь, что незадолго до смерти мальчик решил сказать.

Коробку из-под леденцов я открыл последней.

В ней на клочке овечьей шерсти лежали два кристалла, каждый с крупный жёлудь. Мутные, зеленоватые, с гранями, обкатанными, будто их долго носили в кармане. Я взял один. Он был холоднее, чем должен быть камень летом, и в пальцах у меня, в самых подушечках, отозвался слабый, едва различимый звон. Как стекло, по краю которого провели мокрым пальцем, только очень далеко, в другой комнате. Второй звенел так же.

— Дедовы.

Доски мостков прогнулись. Фома стоял в двух шагах и смотрел на кристаллы, не двигаясь.

— Старый барин их из лога носил, — сказал он, — пока лог живой был. Я думал, продали давно. Вместе с прочими.

Он не спросил, откуда они у меня. Не спросил, где я их нашёл. Посмотрел на тетрадь, на щель под стрехой, на мои руки. Потом отвернулся к воде.

— Колесо в порядке, барчук. Ось только смазать.

Я завернул всё обратно в тряпку. Тетрадь сунул за пазуху, под рубаху, к телу. Коробку в карман. Доску под стрехой поставил на место.

Учиться я буду по ней. Тайно, вещь за вещью, как учат язык по словарю. Мальчик оставил мне то, чего не оставил бы ни один лекарь, ни один испытатель. Описание прибора, на котором мне теперь работать.

На обратном пути, у плотины, кто-то пел.

Без слов, тихо, вполголоса. Голос подстраивался под шум воды на сливе: шёл вниз вместе с ним, поднимался, держал ноту, когда вода держала. Не песня, а скорее мурлыканье, каким мать укачивает ребёнка, не думая о мелодии.

На бревне у края плотины сидела девчонка лет пятнадцати, босая, в выцветшем сарафане, и полоскала в воде какие-то тряпки. Тёмно-русая коса была перевязана на конце не лентой, а медной проволокой, позеленевшей, в несколько витков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.